

принципами и методологическими приемами — это мы считаем уже достаточно доказанным (см. выше гл. XI).

Но как бы ни расходились наши мировоззрения, мы всегда будем помнить, что в мировоззрении Л. Шестова ставится и своеобразно решается бесконечно важная проблема о смысле человеческой жизни; мы будем помнить, что этот вопрос о смысле жизни является центральным вопросом всего творчества Л. Шестова, что жизнь и смерть он рассматривает под аспектом случайности, и то борется с этим аспектом-фантомом, то подчиняется ему и хочет любить его; мы будем помнить, что как бы ни решал Л. Шестов вопрос о смысле жизни, но всегда для него целью являлась человеческая личность, целью являлись человеческие переживания настоящего, а не будущего. И все это выражено Л. Шестовым так законченно и с такою силою мысли и чувства, что только нашей величайшей литературной беззаботностью можно объяснить то обстоятельство, что в то время как Л. Андреева в широкой публике знают все, а Ф. Сологуба многие — Л. Шестова почти совсем не знают, почти совсем не читают...

Т. УМИН

Лев Шестов

Пока оседлые люди будут искать истины — яблоко с дерева познания не будет сорвано. За это дело должны взяться бездомные авантюристы, для которых *ibi partia ubi bene*.

Лев Шестов

Только тот родной мне, кто изменяется.

Фр. Ницше

I

Больше десяти лет прошло с тех пор, как появилась первая книга Льва Шестова: «Шекспир и его критик Брандес».

Десять лет писательской деятельности — немалый период для того, чтобы завоевать симпатии у читателей и стать даже известным. А между тем, широкие круги мало знакомы с творчеством Шестова. Да это и понятно.

Кто странствует по дальним, неведомым тропинкам, кто привык жить в подземелье, того «обитатели» шумных «центров» вовсе не знают или знакомы с ним понаслышке. И если такой отшельник заговорит с ними человеческим языком, его не слушают, не понимают, а в лучшем

случае к его словам начинают относиться с простым любопытством и только очень редко с любознательностью. Мысли такого человека, его речи и книги слишком новы для тех, кто привык к старому, а его жизненное дело, которому он отдает все свои силы, — глубоко еще скрыто от толпы. Такой писатель не гонится за выработкой мирозерцания, не ищет успокаивающих идей.

Он твердо знает, что «никогда готовые идеи не прибавят дарования посредственности, и наоборот, оригинальный писатель во что бы то ни стало поставит себе собственную задачу». Так писал Шестов в 1905 году о Чехове в своей статье «Творчество из ничего». И эти слова как нельзя лучше применимы к самому же Шестову.

Всего больше Шестов не любит готовых общепризнанных обязательных истин, мировоззрений и известных «точек зрения».

Недаром же он говорит, что «наиболее заманчивые для нас вопросы это те, на которые нет настоящего обязательного для всех ответа. Я надеюсь, что рано или поздно философия получит в противоположность науке такое определение: философия есть учение о ни для кого не обязательных истинах»*. Это, конечно, не значит, что Шестов отрицает какие бы то ни было заслуги за всеми приобретениями многовековой человеческой мысли, что для него все философские, этические и религиозные ценности, которыми живет современное человечество, никуда не годная ветошь. Вовсе нет! «В мире всякая вещь вообще на что-нибудь годится», — говорит Шестов. Годится «на что-нибудь» стройное, последовательное, точно выложенное из отшлифованного гранита материалистическое мировоззрение; не менее полезны для людей пантеизм, идеализм, да и вообще, по вкусу Шестова, «нет совсем плохих *an sich* идей». Он сомневается лишь в том, могут ли все эти «безделушки» (так называет в одном месте Шестов идеи) стать предметом серьезных исканий и может ли в результате такого рода исканий явиться истина?

Может ли терзаемый сомнениями человек достигнуть «конца» и, взобравшись на недосыгаемую вершину, оттуда взглянуть на зияющую бездну и... познать истину. Или ограниченному по своей природе, жалкому и ничтожному человеку не дано этой возможности, и ему суждено всю жизнь оставаться лишь накануне истины? И если так — если мучительное искательство, священная борьба, непреклонная решимость идти вперед и страстное желание узнать истину, найти Бога живого — лишь даром потраченный труд, и даже избранныкам — закрыты последние двери, — то не лучше ли остановиться на полпути, принять эту часть за целое, устроить себе временный привал и отдохнуть «хотя бы на воображаемой вере в достигнутую цель?..»**

* Шестов Л. Начала и концы. С. 128.

** Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. С. 17.

Или... или надо идти вперед «к началам и концам», без устали двигаться по одиноким дорогам, порою спотыкаясь и падая, но все же сохраняя в своей душе любовь к свободе, жажду стремлений и дерзновенную смелость борьбы?!

Сочинения Шестова дают нам ответ на эти вопросы. Шестов характеризует ученого человека-философа, который любит «хорошо утоптаные дороги, на которых легко и свободно движется теоретическая мысль, где нет ни деревца, ни травки даже, где царит прямая линия»*. Но Шестов не может сидеть за столом таких ученых, они чужды его душе, любящей «свободу и воздух над свежей землей». Он так же, как и Ницше-Заратустра, «слишком горяч и сожжен собственными мыслями», чтобы оставаться в «прохладной тени» тех, кто «ценит только логическое мышление, то есть беспечное движение по однажды принятому направлению»**.

Шестову известна усталость мыслителей, учителей и основателей различных великих систем, которые, потеряв способность или попросту не желая двигаться вперед, останавливаются на полдороги и предаются покою. Усталые, они утешают себя, что дошли до конца и теперь им разрешается сон и отдых. Шестов высмеивает этих философов: он убежден, что «настоящий исследователь жизни не вправе быть оседлым человеком и верить в определенные приемы искания. Он должен быть готов ко всему: уметь вовремя заподозрить логику и вместе с тем не бояться прибегнуть, когда нужно, хотя бы и к заклинаниям, как делали Достоевский и Ницше»***.

Такому человеку не до сна, он ищет свою истину различными, мало кому знакомыми путями, он всегда бодрствует и неохотно спрашивает других, куда и как ведет дорога к истине, философ сам прокладывает себе тропу...

И если вы спросите такого человека: куда и зачем он идет, он наверное ответит вам словами измученных чеховских героев: «не знаю», или повторит слова Шестова: «мы будем идти к началам, будем идти к концам — хотя наверное знаем, что не дойдем ни до начала, ни до конца»****.

II

В своей книге «Начала и концы» Шестов уже не в первый раз, но все с той же силой и порою со свойственным ему сарказмом восстает против непоколебимых убеждений, общеобязательных истин и мировоззрений, он подкапывается под самые дорогие, установленные временем

* Там же. С. 16.

** Там же. С. 17.

*** Там же. С. 18.

**** Шестов Л. Начала и концы. С. XI.

ценности, истину, разум, прогресс и справедливость, бросает им дерзкий вызов и произносит древнюю формулу «De omnibus dubitandum». Во всем надо сомневаться, или, «иначе говоря, в тех случаях, когда убеждение особенно крепко и непоколебимо, сомнение и призвано исполнить великую свою миссию»*.

С таким лозунгом лучше всего пускаться вплавь по великому и безбрежному морю человеческой мысли. Конечно, вы рискуете, что ваш корабль может быть разбит и унесен в водоворот, но зато какая ширь, какой простор! Вы сбрасываете с себя тяжелые оковы логики, что так давно уже стесняют вашу свободу, вы больше не боитесь законов здравого смысла, вас не страшит уже более непостижимое «потустороннее», вы, наконец, становитесь несколько снисходительнее даже к безумию и ненормальности... И в самом деле, «ненормальный человек ведь тоже живет, чувствует и думает: с какой же стати станем мы отбрасывать как ненормальное для познания все содержание его часто богато-своеобразной содержательной жизни», спрашивает Шестов.

Правда, такой смелый пловец, всегда и во всем сомневающийся, у которого одно желание — идти вперед, ничему не «учит» и многого не объясняет...

А что еще ужаснее — порою впадает в противоречие... Но ведь он и не претендует на учительство, не ищет последователей, ему хорошо известно, что охотники до проповеди и без него всегда найдутся, зачем же в самом деле ему пытаться распространять свое учение. Да, наконец, «разве философ может быть учителем»?

Такой вопрос и ставит Шестов в своих последних афоризмах и дает на него решительный ответ: «Философ не только не может, но и не хочет быть учителем. Учителя бывают в гимназиях, в университетах — они преподают арифметику, грамматику, логику, метафизику. У философа же совсем иное дело, нисколько на учительство не похожее»**. Задача философа, как ее понимает Шестов, вовсе не в том, чтобы выяснить свою «точку зрения» и постараться дать ей возможно большее распространение. И не для того он пишет книги, чтобы распространять свое учение и поучать людей. Философ сам блуждает по дальним улицам и темным подземельям, он сам ищет света. Мысли как искры вспыхивают в его голове, рождаются и вновь умирают, а он без передышки все идет и идет... О таких исследователях жизни повествует нам часто Шестов. И когда он рассказывает нам об их одиссее — его речь становится страстной, его голос дрожит, его лицо преображается, и тогда вы чувствуете, как дороги и близки они его душе. Вот что говорит Шестов о тех, кто странствует по «окраинам

* Там же. С. 124.

** Русская мысль. 1909. Т. IV. (Апрель 1909. № 4. Аф. № 3. Великие кануны. С. 32.)

жизни». «Они зовут к себе читателя как свидетеля, они от него хотят получить право думать по-своему, надеяться — право существовать. Идеализм и теория познания прямо возвещает им: вы безумцы, вы безнравственные, осужденные, погибшие люди. И они апеллируют к последней возможной инстанции в надежде, что этот страшный приговор будет отменен»*.

В этих словах вы слышите сарказм и внутреннюю тревогу, призыв к борьбе и непоколебимую решимость идти вперед, в них чувствуется глубокая скорбь, муки одиночества и радость великой надежды, что не все еще кончено и что возможна «философия трагедии»...

III

Философия трагедии, или... философия подпольного человека. Вот что занимает Шестова, что составляет ось, вокруг которой так часто вращается его мысль. Шестов знает, конечно, что в ту область человеческого духа, которая зовется трагедией, люди добровольно не идут. Он, естественно, и не зовет «туда» никого. Ему, так же как и Ницше, хорошо известно, что «кто избрал себе такой путь, тот не найдет спутников»**.

Ибо там, где кончается разумное и ясное, постижимое и отчетливое, и начинается область безумия, даже великий человек останавливается в нерешительности и вопрошает: «Куда идти?» Этот страшный вопрос «куда идти», этот призрак ненормальности, по мнению Шестова, стоял все время перед графом Толстым, он давил его колоссальный ум и, наконец, заставил его «помириться с посредственностью» и вернуться к «положительным идеалам». Толстой не нашел в себе силы, чтобы добровольно оставить этот мир со всеми его идеалами, добродетелью и любовью и уйти в подполье... А ведь кто знает! Быть может, там, перед его пытливым взором, открылись новые миры, и он познал бы многое, о котором нормальные люди и «мечтать не смеют». Ведь, утверждает же Шестов, что подполье выучивает...

Но Толстому нужен был мир и покой, ему хотелось видеть здесь, на земле же, устроенное человечество, ему надоели шатания, вечные скитания и полеты в заоблачные выси, и он пришел к проповеди «положительных идеалов». А ведь, по мнению Шестова, колебания являются необходимым элементом «в суждениях человека, которого судьба подводила к роковым задачам»***. Разительным примером тому могут служить Достоевский, Ницше, Ибсен и Чехов. О них постоянно и говорит Шестов.

* Шестов Л. Достоевский и Нитше. С. 17.

** Ницше. Утренняя заря¹.

*** Шестов Л. Начала и концы. С. 40.

Чехов — любимейший писатель Шестова. Он часто возвращается к Чехову, с любовью и вдумчивостью говорит о нем. И между ними поистине существует та интимная близость, то родство или скрещивание душ, которое нельзя обнаружить ни сравнительной характеристикой так называемых «общих» идей, ни сопоставлением отдельных фраз. Но зачем слова? Зачем идеи? Разве они могут передать нам всю глубину аналогичных человеческих переживаний, разве в силах они выразить сложную гамму человеческой скорби, печали и радости? А мысли — ведь они лишь, по верному замечанию Ницше, «тени наших ощущений, всегда темнее их и проще». И Шестов не любит слов, он даже рекомендует и другим по прочтении книги забыть все слова и мысли автора и помнить лишь его лицо. Недаром же Антона Чехова он называет тишайшим писателем...

Вы помните чеховского дядю Ваню, который после кошмарной сцены, разыгравшейся в доме его же брата, оставшись наедине с тоскующей Соней, откровенно признается ей в своей слабости, что не мог молчать. «Пропала, пропала — все знают, что пропала. Молчи, вопли не помогут. И выстрелы не разрешат ничего». И правда, когда жизнь прожита, все надежды и грезы разбиты, когда прошлого уже не вернешь, гордый человек должен в себе самом затаить свое горе и молчать. Так «постепенно, говорит Шестов, водворяется грозное, вечное молчание кладбища»*. Мириться с фактом трудно, не мириться еще труднее и даже невозможно. Где же выход? «Не знаю», — отвечают изломанные, надорванные, страдающие, больные герои Чехова. «Молчи, вопли не помогут», — говорит нам одиночество.

Шестов указывает на то, что творческая мысль Чехова постоянно вращается около этих поконченных, загубленных, безнадежных людей. И сам Чехов, по определению Шестова, может быть назван певцом безнадежности. Все пьесы Чехова рисуют нам борьбу двух начал: ясного, сознательного и положительного с неведомым, смутным, неотчетливым.

Как верно отмечает Чуковский, «герои Чехова, говорящие ясно», всегда в борьбе с говорящими «не то»². И вот эти-то говорящие «не то», «не знаю», возбуждающие отвращение у представителей положительной науки, близки и дороги чеховской душе.

Чехова не страшит уже призрак ненормальности, наоборот, по словам Шестова: «Чехов, по-видимому, чего-то ждал от ненормальности и оттого уделял так много внимания выбитым из колеи людям»**.

И кажется мне, что сам Шестов чего-то ждал и ждет от ненормальности, и, быть может, потому он так много внимания уделяет этому вопросу... В предисловии к книге «Начала и концы», написанном в 1908 году, мы встречаемся с таким его заявлением: «Мне уже однажды пришлось указать, что разбитая голова часто является первой

* Апофеоз беспочвенности. С. 89.

** Шестов Л. Начала и концы. С. 62.

страницей истории развития гения. Мне, конечно, не поверили — особенно идеалисты, которые твердо знают (идеалисты, вообще, очень многое очень твердо знают), что разбитая голова есть разбитая голова и только. Я бы мог сослаться на подтверждение моего мнения на труд известного психолога Джемса “The varieties of religious experience”³, но в предисловии, — оговаривается Шестов, — нужно быть кратким». И уже более подробно останавливается Шестов на затронутом им вопросе в своей статье «Разрушающий и созидающий миры». «А что, если, — спрашивает он, — как раз чувства и мысли ненормального человека могут привести нас к таким законам, даже откровениям, о которых нормальные люди даже и мечтать не смеют»*.

Конечно, этот новый мир чувств и откровений, о которых нормальные люди, быть может, «мечтать не смеют», нельзя фиксировать, трудно и даже невозможно сообщить свои знания об этом мире другим: здесь прежде всего необходим личный опыт... Но ведь, по мнению Шестова, «вообще есть знание, оно-то и является предметом философских исканий — к которому можно приобщиться, но которое по самому существу нельзя передать всем, то есть обратить в проверенные и доказанные, общеобязательные истины»**.

Как видите, Шестов не очень уж дорожит научными истинами и отказаться от недоказуемого знания «ради того, чтобы философия получила право называться наукой» он вряд ли решится... Наоборот! Шестову особенно ценны и дороги приемы недоказуемого знания, которое может привести человека к новым откровениям, к новым, неизвестным мирам. Недаром же он говорит: «Чтобы сделать невозможное, нужно прежде всего отказаться от рутинных приемов. Как бы упорно мы ни продолжали научные изыскания, они не дадут нам жизненного эликсира. Ведь наука с того и начала, что отбросила как принципиально недостижимое стремление к человеческому всемогуществу: ее методы таковы, что успехи в одних областях исключают даже искания в других»***. И вот именно это искание в других областях, эта «попытка искать ответа на загадки бытия совсем в ином опыте, может быть, и “ненормальность” перед судом обыденного сознания»**** сближает самого Шестова с творцами прагматизма Джемсом и Шиллером⁴. А ведь психолог Джемс, иронически замечает Шестов, «американец, человек практический и очень доверяющий здравому смыслу. И тем не менее чуть ли не вся книга (Джемс. “The varieties of religious experience”, есть русский пер. Т. V.) посвящена похвале глупости»*****.

* Русская мысль. 1909. Т. I.

** Русская мысль. 1909. Т. I. V. Великие кануны.

*** Начала и концы. С. 59.

**** Русская мысль. 1909. Т. X. Лазарев А. Прагматизм⁵.

***** Начало и концы. X.

IV

Такой именно похвале глупости посвящена в сборнике «Начала и концы» статья Шестова, написанная по поводу книги Бердяева «Sub specie aeternitatis». Здесь снова Шестов объявляет войну здравому смыслу и противопоставляет ему Глупость, или то, что Бердяев называет Большим разумом. Но не в этом дело.

Что Шестов борется со здравым смыслом, ненавидит всякого рода ratio — для нас, конечно, не ново. И я останавливаюсь на этой статье не для того, чтобы лишний раз указать с кем и чем воюет всю свою литературную жизнь Шестов, а совершенно по другим обстоятельствам.

В статье, о которой идет речь, Шестов делает кое-какие вольные или невольные признания, так сказать, pro domo sua. Он удивляется, что одни из критиков причисляют его к пессимистам, другие к скептикам. Шестов спешит опровергнуть все эти слухи и заявляет так: «Когда я впервые услышал, что меня окрестили скептиком и пессимистом, я просто протирал глаза от удивления»*. И действительно, зачислить Шестова в скептики, одеть его в плащ пессимиста или вообще «занести» его в известную графу — по меньшей мере странно.

Неужели же из-за того, что человек стремится к истине и не принимает первое попавшееся заблуждение за действительную непогрешимую догму, он заслуживает быть зачисленным в скептики? Его называют пессимистом, но послушайте, что говорит он сам на это: «Я люблю и день, и раннее утро и сумерки, и глубокую ночь. Чудесны высокие снежные горы и зеленые долины. А как хороши безлюдные, каменистые пустыни в Альпах! Даже зимняя метель и бесконечный осенний дождь имеют свою прелесть! Словом, во внешнем мире мне все или почти все нравится (сейчас вот даже не могу припомнить, что в нем есть дурного). Только человека обидела природа. Ему бы следовало быть умней, красивей, добрее, даровитее, богаче... Неужели желать этого значит рисковать, что тебе пришьют ярлык пессимиста?!»**

Шестов, однако, сам якобы помогает своим критикам разобраться в его философии и называет ее адогматическим догматизмом.

Но тут же со скрытой иронией высмеивает тех, кто вообще гонится за названиями и определениями, кто живую свободную человеческую мысль пытается втиснуть в определенные рамки и подвергает ее механическому анализу. И тем, кто Шестову желает пришить какой-нибудь ярлык, кто ищет в его книгах последовательности, «выводов», стройности, он отвечает: «Разве так книги читают? По прочтении книги нужно забыть не только слова, но и все мысли автора и только помнить его лицо»***.

* Там же. С. 119.

** Там же. С. 124.

*** Там же. С. 121.

Кто хочет понять Шестова, должен прежде всего отрешиться от старой привычки классификации идей писателя по рубрикам, стараясь вылавливать основные его мысли и группируя их в известной последовательности, делать соответственные «выводы». Иногда ведь оттенки мыслей, те или иные вскользь брошенные замечания, неоконченные фразы, намеки могут дать нам больше для понимания и распознавания души писателя, чем всякого рода оформленные, спаянные железными цепями логики положения. Правда, для этого надо иметь некоторый навык, а еще больше особую склонность... Следует, наконец, не ограничиваться лишь одним «знакомством» с произведениями таких писателей, нужно их читать и перечитывать. А для всего этого обязательно нужны привычка и терпение: «Надо привыкнуть разбирать иероглифы».

И в произведениях Шестова больше всего меня пленяют именно эти иероглифы, эти осколки, оттенки его подвижной мысли, которые придают всему творчеству глубоко-интимный и вместе с тем всеобъемлющий характер...

В сочинениях Шестова чувствуется тот беспокойный и недоверчивый дух, который не дает человеку застыть на определенной догме, а гонит его вперед и глубже. Мысль Шестова движется не по утоптаным, хорошо изученным большим дорогам, она блуждает по закоулкам, заросшим тропинкам, она спускается под самые дорогие человеческие, «слишком человеческие ценности». Там в подполье, глубокой ночью, в одиночестве рождаются новые мысли, и в тысячный раз он возвращается к разгадке «проклятых вопросов человеческого бытия».

Шестов всегда переживает внутреннюю тревогу, надеется, подозревает, ищет света, истины, зовет к себе своего читателя, чтобы порою вместе с ним разделить тяжелые муки исканий и снова возвратиться к самому себе...

Б. А. ГРИФЦОВ

Лев Шестов

I

Писать о Шестове — не значит ли рассказывать о том, как дьявол похитил человеческую душу? При этом он завладел ею не из-за ее греховности и злобности, но, наоборот, в ад безвыходных мучений, безнадежности, непоправимого несчастья была брошена душа простая, здоровая и радостная.